

ВАСИЛИЙ  
ВЕРЕЩАГИН



# 1812

ОНИ ВОЕВАЛИ С НАПОЛЕОНОМ



Василий Верещагин

**1812. Они воевали с Наполеоном**

«Алисторус»

1893

УДК 63.3(2)  
ББК 94(47)

**Верещагин В. В.**

1812. Они воевали с Наполеоном / В. В. Верещагин —  
«Алисторус», 1893

ISBN 978-5-907351-77-6

Василий Васильевич Верещагин (1842–1904) был не только один из наиболее известных русских художников-баталистов, но и талантливый литератор, оставивший воспоминания «На войне в Азии и Европе» (1893 г.) и исторические записки о наполеоновском походе в Россию, которые вошли в эту книгу. Как пишет сам автор в предисловии: «Имея надобность ознакомиться, для моих картин, с личностью и образом действий Наполеона, в 1812 году, я выписал из свидетельств очевидцев и современников то, что показалось мне наиболее характерным, в уверенности, что эти заметки будут небезынтересными и для общества». В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 63.3(2)

ББК 94(47)

ISBN 978-5-907351-77-6

© Верещагин В. В., 1893

© Алисторус, 1893

## Содержание

1812 год	6
Предисловие	6
Пожар Москвы	7
Конец ознакомительного фрагмента.	19

# **Василий Васильевич Верещагин**

## **1812. Они воевали с Наполеоном**

© ООО «Издательство Родина», 2021



## 1812 год

### *Предисловие*

Я не задавался целью писать в строгом смысле «историю» кратковременных завоеваний Великой армии в России. Имея надобность ознакомиться для моих картин с личностью и образом действий Наполеона, в 1812 году, я выписал из свидетельств очевидцев и современников то, что показалось мне наиболее характерным, в уверенности, что эти заметки будут небезынтересными и для общества.

## *Пожар Москвы*

Наполеон шел в Россию с намерением восстановить Польшу, а если император Александр не смирится, то и освободить крестьян – эта последняя мера должна была, впрочем, только служить одним из средств обуздать противника, так как завоеватель далеко не имел сентиментальной любви к свободе вообще.

Он полагал найти в России народ, готовый сбросить рабство, и если до некоторой степени не ошибся, в том смысле, что о воле народ действительно толковал, ждал ее, то не понял, что средства для приведения этой мысли в исполнение должны были быть радикально противоположны средствам, пущенным им в ход.

Несправедливо было бы сказать, что при движении Наполеона внутрь России вовсе не было смуты и измены – они были, только сравнительно невелики и вскоре покрылись общим единодушным негодованием, которому немало способствовало варварское поведение французских и особенно союзных им войск.

Внушения неприятеля жителям о том, что во всех занятых местностях русские власти, чиновники и помещики не будут допущены, – настолько поколебало умы, что местами крестьяне помогали неприятелю отыскивать фураж и скрытое имущество, а то так даже и пускались на открытый грабеж господских домов. Тут и там крестьяне отказывались давать лошадей под господ: «Как же, станем мы лошадей готовить про господское добро; придет Бонапарт, нам волю даст, – мы господ знать не хотим!» – говорили местами.

Что касается самих господ, если, с одной стороны, Энгельгардт поступил как истинный патриот – остался в деревне и навредил, сколько мог, французам, а когда на него донесли, не оправдываясь, бесстрашно принял смерть, – то с другой – видели, как князь Багратион сорвал крест с шеи одного чиновника и объявил его изменником, недостойным служить своему государю. В захваченной коляске французского генерала Монбрюна между другими бумагами найдена была записка, сообщавшая о плане предположенной русскими атаки, выданном, очевидно кем-либо из офицеров русской главной квартиры.

Особенно непонятно поведение Могилевского и Витебского духовенств, настолько поверивших рассказам о непринадлежности более завоеванных губерний к России, что епископ Варлаам и сам принес присягу на верность Наполеону и разослал через консисторию указ всем священникам своей паствы: принявши ту же присягу, поминать в церквах вместо императора Александра Наполеона («Я, нижеподписавшийся, клянусь Всемогущим Богом в том, что установленному правительству от его императорского величества французского императора и италийского короля Наполеона имею быть верным и все повеления его исполнять, и дабы исполнены были – стараться буду»).

За архиереем священник Добровольский и многие другие, отправляя литургию и молебны, вовсе не упоминали никого из фамилии Императорского Русского Дома, а молились «о здравии французского императора и италийского короля великого Наполеона».

По отступлении французов немало было дел о смуте между духовными и гражданскими властями, и архиепископ Феофилакт, посланный для водворения духовного порядка в крае, писал министру: «По гражданской части все следы измены закрыты и гражданский губернатор граф Толстой, зная совершенно, кто был изменником, поневоле продолжает служить с ними...»

Интересно, что маршал Даву, герцог Экмюльский, лично вступил в догматический спор с Могилевским архиепископом и предложил, признав совершившийся факт, поминать на ектеньях императора Наполеона, причем оперся на слова Евангелия «воздайте Кесарево Кесарю, а Божие Богу». – «Именно этого я и держусь, – ответил архиерей, – поминая своего государя...» – «Но ведь Кесарь в этих словах означает наиболее сильного, победителя», – объяснил маршал...

«В народе, бесспорно, было недовольство, – говорит А.Ф. де-В., бывший офицер русской службы, – и чем далее шел неприятель, тем оно сказывалось сильнее. Расположение умов было очень и очень сомнительное, но Наполеон, или, вернее, войска его, сами позаботились о том, чтобы вырвать из среды крестьян слабые зачатки веры в его освободительные намерения. Скоро стали расходиться в народе слухи, что неприятель грабит и обращает церкви в конюшни, святые иконы топчет, рубит на дрова, не щадит жителей, ни жен их, ни девиц, ни даже детей, все добро крестьянское забирает, а воли объявлять и не думает... Тогда крестьяне стали поголовно уходить в леса со своим добром и жечь то, чего нельзя было спрятать».

Известно, какие обиды терпели обыкновенно жители стран, подвергавшихся французскому нашествию, но никогда, вероятно, они не доходили до такой степени неистовства, как в эту кампанию. О разорениях и грабежах по дороге многие беспристрастные очевидцы-французы дают интересные подробности. Labaume приводит несколько случаев самого варварского обращения войск с частною собственностью: «Мы вошли, – говорит он, – в большое поместье Введенское – прелестное место с прекрасно отделанным внутри и снаружи домом; в несколько минут все было разбито и разнесено так, что даже не успели ничем воспользоваться... Другой раз мы остановились в богатом доме, с чудесным садом. Видимо, помещение только недавно было отделано, но уже разорено самым ужасным образом: везде по дорожкам валялась разбитая мебель, обломки дорогого фарфора и многоцветных гравюр, вырванных из рам и разбросанных по ветру...»

Bourgeois говорит, что «жители, выгоняемые из домов пожаром, бросались куда попало. Иногда они искали спасения у бесчеловечных солдат, которые их дочиста грабили... Все женщины хватались и подвергались последним оскорблениям... Даже разрывали могилы, ища спрятанных сокровищ. После этого стало понятно, почему французы встречали одни пылающие города, стало понятно, что русские хотели заставить их идти по пустыням без жилья, без пищи, даже без воды: перед тем, как жечь дома, жители засоряли колодцы нечистотами и падалью, жгли запасные магазины, гумна и стога сена – словом, не щадили ничего».

Известно, как ответили москвичи на призыв императора Александра. Много ратников предложено было дворянами, много денег купцами. Хотя часть ратников была доставлена поздно, а часть денег вносилась силком еще в 1814 году – нет сомнения, что народ московский, не допуская и мысли о какой-нибудь уступке Наполеону, решился воевать с ним до крайности. Нашлось, правда, несколько дворян и немало купцов, согласившихся поступить на службу в наполеоновскую администрацию, но эти отдельные случаи не изменяют общего патриотического характера отношений Москвы к завоевателю.

Как могло случиться, что в Москве осталось столько не вывезенного добра? Дело просто: Наполеон выиграл Бородинскую битву, и столица очутилась в его власти, так как удобного поля для нового сражения не было, да к тому же результат второй битвы был бы, пожалуй, тот же, что и под Бородином, где французская армия получила тяжелый нравственный удар, но материально осталась победительницей, отбросила русскую армию, осмелившуюся преградить ей путь. Вряд ли можно было надеяться, что вторая большая битва под Москвою была бы удачнее первой, только потому, что солдат одушевляло бы желание во что бы то ни стало спасти матушку-старушку: во-первых, войска русские понимали и под Бородиным, что они служат последнюю защитой святому городу; во-вторых, и французы, со своей стороны, удвоили бы усилия, так как им предстояло бы тогда или занять хорошие квартиры, отдохнуть, заключить мир и проч., или, отступив, бежать до границы, и они тоже во что бы то ни стало должны были бы еще раз если не разбить, то столкнуть русских со своей дороги. Москву не только оставили без боя, а просто бросили, так как известно, что москвичи не успели вывезти ни своих сокровищ, ни церковной утвари, ни домашней обстановки, ни товаров, ни хлеба. Даже арсенал остался не вывезенным!



Объяснение этому – в несогласии высшего начальства города и армии, Ростопчина и Кутузова. Оба умные, настойчивые и при всех других качествах капризные, не нашли ничего лучшего, как пикироваться и не доверять друг другу в то время, когда город ждал или защиты, или откровенного совета выезжать. Кутузов, более опытный и по летам, и по долгой боевой службе, Кутузов – который, по словам Репнина, доступен всякому, но которого сердце недоступно никому – конечно, много, не менее Ростопчина, выстрадал между Бородином и Москвою и если решил сдать город неприятелю, то потому, что другого исхода ему не представлялось. Все демонстративные споры Бенигсена и выходки Ермолова в противоположном смысле звучали фальшиво, и он справедливо не обратил на них внимания. Еще Барклай говорил в дни своей ответственности, что «когда дело идет о спасении России, то Москва то же, что и всякий другой русский город», и умный, прозорливый Кутузов, которого, по словам Суворова, «и Рибас не смог бы обмануть», – держался того же мнения.

«Если нужно, почтите видом сражения древние стены Москвы», – писал он Милорадовичу, изрекая этим конфиденциальным приказом старому боевому товарищу и ближайшему помощнику окончательный приговор столице; Ростопчину же, бывшему временщику, болтуну и остряку, он совсем не сообщил своих намерений, забывая, что этот болтун и остряк – доверенное лицо государя по охранению жизни и имущества жителей столицы.

Если главнокомандующий армии поступил недоверчиво и лукаво с военным генералом Ростопчиным, то и главнокомандующий Москвы слишком надменно требовал «объяснений» от «старой кривой бабы», как он называл Кутузова.

«Обоз наш грабит народ, – писал Ростопчин, – извольте мне сказать, твердое ли вы намерение имеете удерживать ход неприятеля к Москве и защищать город сей. Посему я приму все меры: или, вооружа всех, драться до последней минуты, или, когда вы займетесь спасением армии, я займусь спасением жителей и со всем, что есть военного, направлюсь к вам на соединение. Ваш ответ решит меня, а я по смыслу его действовать буду: с вами перед Москвою или один в Москве».

«Кривая баба», прямо говорившая «своим», что надобно «или спасти армию, или спасти Москву», требуя от московского главнокомандующего провианта и фуража, отнеслась только снисходительно к великодушному, но непрактичному намерению идти к нему на помощь со всяким, чем попало вооруженным, московским сбродом и вовсе не ответила о своих намерениях касательно Москвы. Когда на совете в Филях, куда Ростопчин даже не был приглашен, решили отступать – спасать что-либо было уже поздно.

«Если неприятель займет Москву, то расплывется в ней, как губка в воде, а я буду свободен действовать как захочу», – совершенно справедливо говорил Кутузов, но Ростопчину от этого было не легче: он был прямо обманут Кутузовым, клявшимся своими сединами, что «скорее умрет, чем сдаст Москву». «Когда паны дерутся, – говорит пословица, – у холопцев чубы болят», – за недоразумение между главнокомандующими поплатились жители Москвы. Застигнутый врасплох, граф Ростопчин принужден был *faire bonne mine au mauvais jeu* (сделать хорошую мину при плохой игре; *фр.*) и, в противность прежним уверениям и похвалам, успел только наскоро озаботиться раздачею народу оружия из арсенала – лишь бы оно не досталось неприятелю – выливанием на улицы водки из бочек и т. п. да выездом близких лиц и своей собственной особы. Последнее оказалось нелегко исполнимым, как показал вызванный этим отъездом случай убийства купеческого сына Верещагина.

Эта история теперь хорошо разъяснена: полиция уведомила главнокомандующего Москвы о том, что народ, осведомленный об его приготовлении к отъезду из города, толпами валит к его дому и хочет требовать объяснения по поводу его прежних обещаний – вести их против неприятеля, – и что, пожалуй, сброд этот силой воспрепятствует его выезду. – Народу только что роздано было оружие из арсенала, и толпа явилась вооруженная винтовками без курков, ржавыми саблями и пиками – в том самом вооружении, в котором главнокомандующий

Москвы хотел вести их на Наполеона. Ростопчин, не имевший в своем распоряжении достаточно военной силы и боявшийся оскорбления достоинства своего высокого сана, решился на хитрость: как волкам, преследующим путников, бросают что-либо могущее задержать их и дать возможность людям спастись, так он вывел к бушевавшей толпе осужденного за перевод иностранного памфлета купеческого сына Верещагина и, объявив его «изменником, из-за которого гибнет Москва и Россия», велел расправиться с предателем своим судом; а когда толпа, не видевшая связи причины с действием, т. е. измены человека с отъездом главнокомандующего, не решалась «бить» – приказал драгуну рубить юношу палашом...

Еще трепещущий труп Верещагина был привязан за ноги к лошадиному хвосту, и чернь, глумясь, и ругаясь, бежала за ним по улицам. Волоча труп, толпа спустилась вниз по Кузнецкому мосту, повернула направо на Петровку, потом по Столешникову переулку на Тверскую, оттуда на рынок (Охотный Ряд), и наконец тело приволокли на Софийку, где оно было брошено за ограду небольшой церкви позади Кузнецкого моста и впоследствии похоронено (когда проводили Софийку и церковь эта была снесена, тело Верещагина найдено вполне сохранившимся: народ умилился и многие сочли этого несчастного мучеником, но его поскорее снова схоронили в другом месте). Граф Ростопчин тем временем сел в экипаж, поданный к заднему крыльцу, и выехал из города.

\* \* \*

Известно, что покойный император Александр I не благоволил к Кутузову со времени Аустерлицкого сражения, на которое Кутузов не соглашался, а был только исполнителем плана австрийского генерал-квартирмейстера Вейнротера, того несчастного плана, который был вполне одобрен императорами русским и австрийским. Тогда вина австрийца была приписана Кутузову. Впоследствии государь, вспоминая об Аустерлицком сражении, сказал:

«Я был молод и неопытен, Кутузов мне говорил, что надобно действовать иначе, но ему следовало быть в своих мнениях настойчивее». Император называл Кутузова комедиантом и плаксой и, однако, несмотря на все это нерасположение, назначил старого сподвижника Суворова, «комедианта» и «плаксу», главнокомандующим всех армий, действовавших против Наполеона, уступая в этом случае голосу общественного мнения.

Говорят, что, отправляясь к войскам, Кутузов ни себя, ни других не обольщал надеждою разбить Наполеона и высказывал надежду только обмануть его.

По прибытии к армии новый главнокомандующий, с одной стороны, польстил солдатам, громко сказавши, что с такими молодцами нельзя отступать, а с другой – подтянул офицеров, объявивши в приказе, что «в самое короткое время поймано разбредшихся до 2000 чинов и что такое непомерное число отлучившихся от своих команд солдат, во избежание службы, доказывает необыкновенное ослабление надзора господ полковых начальников». Нужно заметить, что к назначению Кутузова, встреченному радостно общественным мнением, многие, близко знавшие старого генерала, лица отнеслись недоверчиво; так, пылкий Багратион, всячески порочивший прежде Барклая, называл теперь нового главнокомандующего «мошенником, способным изменить за деньги».

После решенного на военном совете в Филях отступления русские войска стали проходить через город на Рязанскую дорогу. Глинка видел Кутузова за заставою, сидевшего на дрожках, погруженного в глубокую думу. Полковник Толь подъехал к нему и доложил о том, что французы уже вошли в Москву. «Слава богу, – ответил Кутузов, – это их последнее торжество». Полки медленно проходили мимо генерала, сидевшего неподвижно, облокотясь правой рукой о колено, как будто ничего не видя, ничего не слыша.

Войска отступали городом в большом беспорядке: обозы сталкивались, различные команды отыскивали свои полки; отдельные солдаты порывались грабить. Народ обступил

транспорты с ранеными – сердобольные женщины бросали в повозки деньги, не боясь зашибить больных тяжелыми пятаками.

Если бы в это время Наполеон догадался послать на отступавших русских несколько полков своей кавалерии, то, конечно, истребил бы весь наш арриергард. Но Наполеону в это время было не до того: он стоял за Дорогомиловскою заставой в ожидании депутации города: требовал к себе «негодяя» Ростопчина, коменданта, обер-полицеймейстера, городского голову – никто не являлся. Кутузов, введя его в Москву, не оставив за собой следа, свернул в сторону и надул противника: в то время, как тот объявлял Европе, что русские бегут в расстройстве по Казанской дороге, он, быстро повернув с Рязанской дороги на Калужскую, стал в заслон хлебобродных, не тронутых нашествием губерний. Чья собственно была эта мысль – до сих пор точно не разъяснено, но мысль была счастливая, чреватая последствиями, выгодными для русских, гибельными для французов.

В Москве в это время была полная неурядица: из более зажиточных жителей остались только те, которые поверили афишам Ростопчина и не вывезли своего добра, в надежде, что оно будет защищено; некоторые, впрочем, может быть, надеялись половить рыбки в мутной воде; затем осталась голытьба и немало преступников; всего осталось тысяч до пятнадцати человек. Подозревавшийся в вольных мыслях почт-директор Ключарев выслан; разные носители смуты: помянутый Верещагин казнен, бывший студент Урусов, доказывавший, что приход Наполеона послужит к общему благу, сначала был засажен, потом выслан; наконец, портным, намеревавшимся бить иностранцев, была, для успокоения, своевременно, по приказанию Ростопчина, пущена кровь (!), а самые иностранцы удалены на барке в Нижний Новгород.

Как выше помянуто, перед самым вступлением неприятеля приказано было разбивать в кабаках бочки с вином – народ на них накинудся и перепился; вино текло по улицам, и люди припадали к мостовой, чтобы сосать его, причем, разумеется, были крик и драки.

«Отец был упорный человек, – вспоминает одна мещанка, – ни за что, говорит, не пойду, нечего француза бояться, мы его шапками закидаем... Раздавали оружие в Кремле, и он себе достал ружье без курка: хоть оно, говорит, и не в исправности, а все же пригодится: может, придется француза пострелять... Дошли мы до Каменного моста, тут столпилось человек сто наших, а по мосту проходили неприятельские полки. Отец вздумал погрозиться на них своим ружьем: один из них рассердился, выхватил у него ружье и ударил бедного прикладом по затылку – кровь брызнула из раны»...

«Раз сижу я под окном, – рассказывает жена священника, – и чулок вяжу. Вдруг подбежала дьячиха: матушка, говорит, ребята сказывают, что Бонапарте вышел в Дорогомиловскую да Калужскую заставу. – У меня чулок из рук выпал, я так и крикнула: Дмитрий Власыч, слышишь? – А муж сидел в другой комнате и писал. Он спрашивает: что там случилось? – А то, говорю, случилось, что Бонапарте пришел, дьячиха сказывает. – Он рассмеялся: эх ты, говорит, дура баба, дьячихе веришь, а генерал-губернатору не веришь. Вот она графская-то афишка, ведь я ее тебе читал – поди-ка лучше да вели самоварчик поставить».

«Отправили мы в ряды кухарку за провизией, – продолжает дальше та же рассказчица, – да позвала она с собой моего двоюродного брата, Сидором Карпычем его звали. А он захватил с собою кувшинчик да деревянную ложку: медку, говорит, очень захотелось, а там стоят целые кадки, так я себе и положу. – Пришли, ряды пусты, кое-где промелькнет кто из неприятелей или из наших, забирают себе что под руку попадет. Аксиныя пошла за чаем, за сахаром, а он за медом, и говорит ей: заберем, что надо, и жди меня, я живо покончу. Насыпала она чаю в салфетку и сахару битого захватила и ждет Сидора Карпыча, а его нет как нет; уж она думала: не случилось ли чего с ним. Пошла бы к нему, да боится запутаться в рядах; сижу, говорит, в лавке, да молитву творю! Вдруг слышит, он ее выкликает: Аксиныюшка, голубушка, где ты? Она вышла из лавки да так и обмерла: весь ряд пустой, идет к ней человек не человек, а чучело какое-то, она сперва не разобрала, что такое. Как они поравнялись, так девка померла

со смеху: весь он с ног до головы в меду обмазан, на голове-то шапка медовая, а лицо и не разглядишь. – И рассказал он ей, что стал в кувшин меду класть, а пришли трое каких-то и говорят: отдай кувшин. А он не дает: зачем, говорит, вы шли с пустыми руками? – Дай, говорят, кувшин! – Сидор Карпыч схватил кувшин да хотел с ним бежать. Они его догнали, отняли кувшин, озорники этакие, да бултых в медовую бочку головой! – Я, говорит, света не взвидел, совсем задыхаюсь. Стал барахтаться, кое-как голову высвободил, а ноги так и вязнут; нос, рот, глаза и все залепило. Хочу рукой лицо обчистить, а руки-то все в меду. Такой густой проклятый мед, точно в смолу в него увяз. Уж не знаю, долго ли я тут промучился, а чувствую, что у меня в голове помутилось. Собрался я с последними силами, схватился за край кадки и вылез вон. Стал на ноги и ничего не вижу, не соображу, куда идти...

Мы после об этом много лет спустя без смеху вспомнить не могли. Особенно дьячиха, шутница такая, как его увидит: не угостить ли, говорит, тебя, Сидор Карпыч, медком? ведь ты охотник!»

Французы тем временем входили в город и, по выражению Кутузова, расплывались в нем, как губка в воде; некоторые только проходили улицами и становились бивуаками по окрестным селам за городом, другие, как гвардия, помещались в самом Кремле.

«Мы были поражены чудным видом Москвы, и авангард с восторгом приветствовал город криком: Москва!

Москва! – говорит Labaume. – Все бросились на высоту и наперерыв один перед другим открывали и указывали друг другу новые красоты. Дома, выкрашенные разными красками, купола, крытые железом, серебром и золотом, удивительно разнообразили вид; балконы и террасы дворцов, памятники и особенно колокольни давали нам в общем картину одного из тех знаменитых городов Азии, которые до тех пор мы считали существовавшими только в воображении арабских поэтов».

Милорадович, командовавший арриергардом, предложил Мюрату не слишком напирать и дать русским войскам спокойно отойти, угрожая в противном случае зажечь за собой город, и король Неаполитанский, с дозволения Наполеона, согласился. Передовые французские войска смешались с казаками, шедшими в тылу русской армии, и Мюрат имел случай блеснуть между «варварами» роскошью своего наряда. Он выпросил бурку у одного из старших казацких офицеров и отплатил за нее дорогими золотыми часами, взятыми у одного из своих офицеров.

По мере того, как французы занимали громадный город, они все более и более поражались его мертвенным покоем и пустынностью – полная тишина кругом невольно заставляла и их соблюдать молчание, нервно прислушиваться к гулко раздававшемуся стуку лошадиных копыт о мостовую. Самым храбрым было не по себе от этой пустоты – при длине улиц не было возможности с одного конца различать людей на другом, и трудно было разобрать, кто там впереди двигался, друг или враг! Случалось, что, охваченные безотчетным страхом, одни части войска бежали перед другими, своими же...

Солдат Bourgogne наивно выражает свое удивление пустому виду города: «Мы были очень удивлены, не видя никого: хотя бы какая-нибудь дамочка послушала нашу полковую музыку, наигрывавшую мотив «победа наша!». Мы не знали решительно, чему приписать эту полную тишину: этакий славный город и вдруг молчаливый, угрюмый, пустой! Слышен был только шум наших шагов, барабанов и музыки – конечно, и с нашей стороны было не очень-то много разговоров! Мы только посматривали друг на друга и про себя, признаться, думали, что жители, не смея показаться на улицах, смотрят на нас в щелки ставней: оттуда ведь легко было смотреть, так что самих их не было видно. Ну как же, в самом деле: можно ли было подумать, чтобы такие богатейшие дворцы, такие красивые богатые постройки были брошены владельцами... Через час примерно после нашего прихода начались пожары; конечно, полагали мы, какие-нибудь грабители из наших же заронили по нечаянности огонь... Уж никак не могли и

думать, чтобы народ этот был такой варвар – решился бы сжечь свою собственность и уничтожить один из лучших городов в свете».

«Во всех этих богатых домах и дворцах, – рассказывает Labaume, – мы находили только детей, стариков да русских офицеров, раненных в предыдущих битвах. В церквах престолы были убраны как для праздника: по множеству зажженных свечей и лампад перед образами святых видно было, что до самого ухода набожные москвичи молились. Эти разительные картины народной набожности и приверженности к религии возвышали в наших глазах побежденный народ и наводили стыд на нас за сделанную ему несправедливость... Иногда под невольным впечатлением страха мы чутко прислушивались: воображение, нервно настроенное среди громадного покоренного города, заставляло нас ждать везде засад и слышать то шум и бряцание оружия, то будто крики дерущихся...»

«Простой офицер очутился квартирантом превосходно меблированных помещений, в которых мог считать себя полным хозяином, так как не видел никого, кроме покорного, униженного дворника, дрожащею рукой предоставлявшего ключи ото всего...»

«Я оставила свою квартиру 25 августа (6 сентября), – рассказывает г-жа Фюзиль, актриса московского французского театра. – Проходя городом, я была поражена трогательным зрелищем: улицы были пусты, кое-где только встречался прохожий из простого народа. Вдруг я услышала вдали какое-то жалостное пение – подойдя, увидела громадную толпу мужчин, женщин и детей с образами, в предшествии священников, поющих священные гимны; нельзя было без слез смотреть на эту картину населения, покидающего город со своими священными предметами... Вдруг меня позвали: придите, пожалуйста, взглянуть на явление в небе, это удивительная вещь – точно огненный меч – верно, быть беде! И в самом деле, я увидела нечто совершенно необыкновенное, настоящее знамение...»

По разным указаниям можно считать приблизительно во сто двадцать тысяч число вошедших в Москву войск; но, исключая гвардию, французские войска на другой же день вышли из нее и расположились по окрестностям; гвардия, как выше замечено, заняла Кремль. В Москве поместились испанцы, португальцы, швейцарцы, баварский корпус, виртембергский и саксонцы. Этим постоянным пребыванием в городе «союзного элемента» и надобно, вероятно, объяснить необычайность совершенных в Москве жестокостей.

По улицам встречалось множество отставших от своих частей русских солдат. Fezensac говорит, что он один остановил человек 50 их и отослал в главный штаб. «Генерал, которому я передал об этом, выразил сожаление, зачем я не расстрелял их всех, и сказал, что на будущее время он самым положительным образом рекомендует мне так разделяться с ними».

Тем временем пожары не только не прекращались, а все более разгорались.

«Страшно было, – рассказывает оставшаяся в Москве молодая девушка из купеческого семейства. – Наши жгли Москву!» – «Говорили, что свои жгут Москву, – рассказывает другой, – чтобы Бонапарте из нее выгнать.

Правда или нет, того я не знаю; но что наш дом подожгли, то это верно!»

Видели, например, что из одного дома (Куракина) вышел управляющий с четырьмя лакеями, которые палками гнали перед собою пьяного человека в белом армяке, радостно кричавшего: «Как хорошо горит!» Люди Куракина объяснили, что он только что поджег дом и они ведут его к французам. Его немедленно расстреляли.

Судя по этим и многим другим свидетельствам, можно заключить, что Москва была сожжена исключительно самими русскими; однако вернее, кажется, принять, что город сожжен не по обдуманному заранее намерению, а просто, во-первых, потому, что был наполовину деревянный, а во-вторых – достался в руки неприятеля. Сначала пожар приписывали Ростопчину, который писал, между прочим, Багратиону, что, в крайнем случае, решился, «следуя русскому правилу: «не доставайся злодею!» – обратить город в пепел!» К тому же заключению приводило и то обстоятельство, что он позаботился вывезти все пожарные инструменты. Но после, по

расследованию, дело поджогов оказалось более случайным, что удостоверил и сам Ростопчин: «Главная черта русского характера, – говорит он в своем объяснении, – скорее уничтожить, чем сдать врагу, пусть никому не достается... Когда наполеоновская армия заняла город, многие из генералов и офицеров отправились в Каретный ряд, где были главные магазины экипажей, выбрали и отметили своими именами то, что каждому понравилось. Владельцы лавок, с общего согласия, чтоб не быть поставщиками своих врагов, зажгли магазины». Это объяснение весьма правдоподобно и, кажется, может быть принято.

Французы сначала приписывали дело неосторожности своих и немало казнились этим. «Много офицеров прибежало укрыться во дворце, – говорит Sequig. – Начальство, сам маршал Мортье, тридцать шесть часов уже боровшийся с пожаром, просто падали от изнеможения!.. Все молчали, все мы обвиняли себя. Всем казалось, что пьянство и отсутствие дисциплины французских солдат начали беду, а буря раздула, разнесла ее... Нам просто противно было смотреть друг на друга... Что скажет об нас Европа?! Заговаривали нерешительно, потупивши взоры, в отчаянии от такого страшного бедствия, омрачавшего нашу славу, вырвавшего у нас плоды ее, угрожавшего, наконец, нашей жизни – мы были армией преступников, которых провидение должно было покарать, так же, как и цивилизованный мир... Эти досадные мысли стали рассеиваться только известиями о том, что жгут сами русские! Офицеры, являвшиеся с разных сторон, согласно показывали одно и то же, сомневаться было нельзя!..»

«В среду утром, – рассказывают французы, – поднялся ураган, и огонь начал свирепствовать с невероятной силой. В один час он разнесся в десять различных мест, так что все огромное пространство, по ту сторону реки, превратилось в море пламени, волны которого бушевали в воздухе, разнося опустошение и ужас. Вся полоса воздуха над городом превратилась в огненную массу, которая изрыгала горящие головешки, и, вследствие расширения воздуха от теплоты, буря еще более усиливалась; никогда Господь Бог в гнев своем не являл людям зрелища ужаснее этого: огонь решительно повсюду, грабители преследуют своих жертв, а бежать некуда! Церкви горят и дома горят. Просто ад кипит и со всех сторон все рушится... Бревна горят и катаются по улицам, головни так и сыплются; листовое железо летит с крыш, жара такая, что не продохнешь, а мостовая раскалилась, жжет ноги. Колокольни в огне, колокола срываются, падают...»

«Пожар продолжал распространяться, – говорит Labaume, – и скоро захватил лучшие кварталы города. В минуту все чудесные здания, которыми мы восхищались, были охвачены и уничтожены пламенем. Их превосходные фронтоны, украшенные барельефами и статуями, с шумом и треском летели на остатки колонн. Церкви, хоть и крытые железом, тоже рушились, а с ними и чудесные колокольни, сиявшие серебром и золотом, которыми накануне еще мы любовались. Госпитали, со множеством раненых, загорались также, и сцены, в них происходившие, раздирали душу. Почти все эти несчастные погибли, а немногие, еще державшиеся на ногах и дышавшие, полуобгорелые, вылезали из-под груд обломков и пепла; многие, придавленные горами трупов, старались освободиться на свет Божий...»

Легко представить себе, каким печальным размышлениям должен был предаваться Наполеон, бывший это время в Петровском дворце; по всей вероятности, он не смыкал глаз, как и все несчастные жертвы этой ночи, потому что около 6 часов утра один из его адъютантов отправился в ближний лагерь и попросил г-жу О., спасавшуюся там, явиться к его величеству. У ворот дворца встретил их маршал Мортье и провел до большого зала, где, в амбразуре окна, ждал ее Наполеон. – «Вы очень несчастливы, сударыня, как я слышал?» – спросил Наполеон и затем в продолжение часа расспрашивал ее об разных предметах...

Велики же должны были быть затруднения завоевателя, если он обращался к этой даме за советом политики и администрации. Наполеон спрашивал, между прочим, что она думает об идее освободить крестьян. «Я думаю, ваше величество, – ответила она, – что они не поймут, что вы хотите сказать этим».



Не следует думать, что одна эта дама удостоилась такой чести: к нему приводили немало умников, нисколько не затруднявшихся давать советы, так как он на них напрашивался, а им советы ничего не стоили.

«Как описать все, происходившее в городе, отданном на грабеж, – говорит очевидец, – солдаты, маркитанты, преступники из тюрем и публичные женщины бегали по улицам, врываются в покинутые дома и выхватывали оттуда все, что могло им приглянуться. Одни накутывали на себя шелковые с золотом одежды, другие взваливали на плечи, сколько могли, без разбора, всяких мехов; там одевались в женские и детские шубки, солдаты и всякая уличная сволочь раздевались в придворные одежды. Толпы бросались к погребам, выбивали двери и, перепившись, шатаясь, уносили награбленное. Это безобразие не ограничивалось только покинутыми домами: солдаты врываются во все жилые квартиры и насиловали всех попадавшихся женщин. Когда генералы получили приказание выехать из Москвы, распущенность достигла крайнего предела: солдаты, не сдерживаемые присутствием начальства, дошли до чудовищного безобразия, не жалели ничьих убежищ, не щадили ни церковных, ни каких других украшений и богатств».

«Ничто так не разожгло алчности грабителей, как Архангельский собор в Кремле с гробницами царей, в которых ожидали найти громадные сокровища. В этом чаянии гренадеры спустились с факелами в подземелье и взрыли, перебудоражили самые гробы и кости почивших...»

«Мы надеялись, что хоть ночь скроет от нас эти ужасы, но пожар сделался еще ужаснее в темноте: пламя, расстилавшееся с севера на юг, упиралось в небо, закрытое густым дымом. Просто леденела кровь от усилившихся еще с темнотою криков несчастных, которых мучили и убивали, воплей девушек, искавших спасения у своих матерей и только еще больше разжигавших этим ярость палачей. К этим воплям присоединялся вой собак, по московскому обычаю, прикованных в цепях у ворот домов и сгоравших вместе с ними...»

«Сквозь густой дым виднелись вереницы экипажей, нагруженных добычей и поминутно останавливавшихся; слышались крики возчиков, боявшихся сгореть, погонявших лошадей, протискивавшихся вперед со всевозможными ругательствами...»

«Мы встретили еврея, – рассказывает Bourgoigne, – который рвал на себе бороду и пейсы при виде горевшей синагоги, которой он был раввином. Так как он болтал немного по-немецки, то мы поняли, что вместе со многими другими своими одноверцами он снес в храм все, что имел наиболее ценного...» «Не могу себе представить, – говорит этот очевидец, – что бедный еврей, среди таких бедствий, не утерпел, чтобы не спросить нас, нет ли у нас чего-нибудь для продажи или промена... Он принужден был, несмотря на все отвращение, поест с нами око-рока... Стрелки, набравшие на монетном дворе слитков серебра, обещали ему променять их».

«Когда мы вошли с ним в самый еврейский квартал, оказалось, что в нем все выгорело дотла – приятель наш при виде этого вскрикнул и упал без чувств. Через минуту он открыл, однако, глаза, и мы, давши ему оправиться, стали спрашивать, чего он так испугался; он дал понять, что дом его сгорел, а с ним, вероятно, и вся семья. Сказавши это, он снова впал в беспамятство...»

«Везде вооруженные солдаты, уходя, разбивали двери, будто боясь оставить дом неограбленным, и если новые вещи были или казались лучше прежде захваченных, они бросали старые, хватали новые, и когда повозки не могли более вместить, уносили целые горы на себе. Пожар часто преграждал им дорогу; тогда они возвращались назад и бродили по незнакомому городу из улицы в улицу, ища выхода из лабиринта огня. Несмотря на крайнюю опасность, жадность грабителей толкала их лезть прямо в огонь: в крови по трупам пробирались они туда, где рассчитывали что-нибудь найти, несмотря на то, что уголья и горящие головни падали им на головы и на руки. Конечно, они погибали бы там, если бы невыносимый жар не выгонял их, наконец, и не заставлял убежать в лагерь».

Земля была до такой степени нагрета, что нельзя было приложить к ней руку – жгло. Ноги прожигало через подошвы обуви. Растопленная медь и другие металлы смешивались в одну струю, текли по улицам, как уверяют свидетели.

Иностранцы дивились тому, как русские жители, по-видимому, хладнокровно смотрели на свои горящие дома, должно быть, вера поддерживала их, потому что, не крича, не ломая рук и не беснуясь, они выносили из домов образа, ставили их перед дверьми и, крестясь, уходили.

«Собрались мы, – рассказывает одна мещанка, решившаяся вместе с другими бежать из города, – к старушке Поляковой; она стоит у киота и лампаду перед иконами зажигает, а сама нарядилась, словно на праздник собралась: вся в белом и на голове белый платок. Что это вы, бабушка, или не знаете, что дом загорелся? Заберем скорее ваши вещи, да и уйдем с Богом: мы за вами пришли. А она говорит: «Спасибо вам, мои голубчики, что не забыли меня, а я свой век в этом доме прожила и не выйду из него живая. Как он загорелся, я надела свою подвенечную рубашку и нарядилась, как покойница. Стану на молитву, и за молитвой застанет меня смерть, я готова». Начали мы представлять резоны, что за чем, мол, вам идти на мученическую смерть, когда Господь вам помогает спастись? – «Я, говорит, не сторю, я задохнусь, пока огонь до меня дойдет; ступайте, пора, уж и сюда дым пробирается, а мне еще помолиться надо – простимся, и уходите с Богом». Обняли мы ее, а сами рыдаем. Она нас всех благословила, и слезы у нее на глазах навернулись. «Простите меня, говорит, грешную, если в чем перед вами провинилась, а моих увидите – передайте им мой последний поклон». Мы ей поклонились в ноги, как покойнице. В комнате стоял уже густой дым...»

Скромное имущество монахинь Алексеевского монастыря, спрятанное в кладовую, было разграблено; солдаты нарядились в монашеские ряски... Несколько человек поселились в келье игуменьи, где пировали двое суток и приглашали к себе молодых монахинь – одна добровольно пошла на позор, осталось известно и имя ее. «До смерти хотелось нам, немногим оставшимся молодым монашенкам, – рассказывает одна, – узнать, что там делается;

мы все забились в одну комнату, отворили дверь да и стали выходить помаленьку; а подбежала старуха-монахиня: «Куда? – говорит, – сейчас назад! Вы уж и рады на военных-то глядеть! срамницы этакие! Вишь как все раскраснелись! путные бы побледнели от страху»... Была у нас одна монахиня, как их, бывало, встретит, так и выругается – они ничего! Пошла она раз к колодцу воды накачать; француз вежливо подскочил помочь ей ведра поднять – как она на него накинется! «Станем, говорит, мы после твоих поганных рук воду пить! Убирайся, окаянный, а не то я тебя оболую!» Другой бы, кажется, осерчал, а он засмеялся и отошел».

«В Рождественском монастыре придумали молодых монахинь сажай вымазать... Идут они двором, а навстречу французы – тотчас их окружили; старухи-то начали отплевываться и показывать, что клирошанки гадкие, черные. Рассмеялись французы. Стояла тут бочка с водой, один из них налил воды в ковш и показывает им, чтобы умылись. Они сробели и хотели бежать. Французы их догнали и начали их умывать. Девочки кричат и старухи кричат, а французы помирают со смеху. Как их вымыли, начали говорить: жоли филь!»

По собранным мною сведениям, как и по словам многих очевидцев, сами французы немилосердно расстреливали наших, были, в частном обращении, справедливее и жалостливее, чем их союзники. Священник Казанской церкви села Коломенского, близ Москвы, рассказывал мне, со слов своего покойного тестя, что тот, будучи мальчиком, спрятался от французов в печку и, когда вечером, соскучившись и проголодавшись там, начал плакать, они его вытащили, обласкали и утешили сахаром.

Вся священная утварь этой церкви была похищена солдатами, но священник пошел к Мюрату, остановившемуся невдалеке, и со слезами умолил возвратить вещи, нужные для богослужения, – их разыскали и отдали ему;

надпись на одном из серебряных сосудов свидетельствует об этом.

Древний старичок деревни Новинок, помнящий стоявшего у них «француза», уверял меня, что неприятель не сделал им большого зла – только кормился их добром.

Неприятели не знали, что в Кремле находился пороховой склад, и непредусмотрительно поместили там гвардейский артиллерийский парк, на открытом воздухе, так что достаточно было одной из головешек, носившихся в воздухе, упасть на зарядный ящик – вся гвардия, все начальство с самим Наполеоном пропали бы. В продолжение многих часов участь армии зависела от всякой искры, рассыпаемой пожаром.

«Что же это ваши русские делают? – выговаривал русскому один французский генерал, – видано ли когда-нибудь, чтобы так жгли свою столицу?» – «Я не знаю, кто ее поджигает, но последствия этого для нас самые печальные». – «Это верно ваши казаки?» – «Полноте, где вы теперь увидите тут хоть одного казака?»... – «Черт возьми, они у ворот города! Вчера только что на этой самой дороге мы их прогнали; могу вас в этом уверить, потому что я сам командовал. Так не ведут войны!»

Другой французский офицер говорит иначе: «Хотя несчастные последствия московского пожара падали на нас, тем не менее, мы не могли не удивляться великодушному самопожертвованию жителей города, храбростью и настойчивостью поднявшихся до высокой степени славы, характеризующей великие нации»... Этот же писатель удивляется стойкостью русских, приговоренных к расстрелянию: «Перед казнью каждый старался протискаться вперед, чтобы первым принять удар. С видом полного спокойствия они крестились и падали под пулями солдат».

Один из московских католических священников, тоже очевидец, говорит: «Солдаты не щадили ни стыдливости женского пола, ни детской невинности, ни седых волос старух... горемычные обитатели, спасаясь от огня, были принуждены укрываться на кладбищах».

«Церковная утварь, образа и все священные вещи верующих, – говорит аббат, – были пограблены или позорно выброшены на улицы. Священные места были превращены в казармы, бойни и конюшни; даже неприкосновенность гробниц была нарушена. Никогда, конечно, города, даже взятые приступом, не подвергались большому поруганию». Один из французских офицеров признавался, что со времени революции не видано было такого беспорядка в армии... «Все улицы были полны человеческими трупами, перемешанными с падалью лошадей и других животных... Здесь кричали караул, и голоса замирали, захлебываясь в своей крови; там жители выдерживали в домах настоящую осаду, защищая свои очаги, уже ограбленные и переограбленные, против окончательного разорения от пьяного солдатства, доведенного до бешенства вином и этими попытками сопротивления».

«В других местах тащили по улице чуть не голых мужчин и женщин и с ножом у горла требовали открытия спрятанных будто бы сокровищ. Все двери лавок были настежь открыты, продавцы в бегах, товары разбросаны повсюду... Не успевала одна шайка мародеров уйти из дома, как другая врывалась и не оставляла ни рубашки, ни какого-нибудь сапога».

На улицах эти дни жителям нельзя было показываться даже и с конвоем, так как сама охрана грабила, а в случае крика или жалоб била до полусмерти. Ограбленные одевались потом во что попало, часто по-женски; грабители же почти все щеголяли в шляпах, украшенных цветами или перьями, в кофтах, в женских башмаках. Даже французские офицеры принимали участие в этом смешном маскараде. Начинаясь холодно, и атласные меховые шубки отлично служили для защиты от него, зато их носили даже на лошади, поверх военной формы.

Мыслимо ли было скрыть что-нибудь от людей, воевавших и грабивших во всех углах Европы? Разбивались и осматривались каминные печи; глубоко рылись в земле, засовывали туда шпаги и штыки. Как сказано, разрывали кладбища, особенно свежие могилы, вскрывали гробы, сбрасывали больных с кроватей и рылись в тюфяках. Лимонные и апельсиновые деревья и горшки с цветами в оранжереях сбрасывались, обшаривались – не было ли в горшках запрятано что-нибудь. Даже когда проносили мертвое тело для погребения, его останавливали и осматривали...

Однако один живший в Москве англичанин перехитрил-таки французов. Он вырыл глубокую яму, опустил на дно свои сундуки и засыпал землею. Потом, оставя до поверхности 2 аршина пустого места, положил туда мертвого французского солдата. Неприятеля, приметив, что земля тут вырыта, начали было копать, но, увидя своего мертвого собрата, оставили работу.

«Нельзя себе представить картину Москвы в эти дни, – говорит Перовский, – улицы покрыты выброшенными из домов вещами и мебелью, всюду слышны песни пьяных солдат, крики грабящих, дерущихся между собою. Многие французские офицеры весьма серьезно пеняли на то, что не могут найти ни сапожника, ни портного, чтобы исправить обувь или одежду, – они как будто имели на то полное право и жаловались на нас...»

Усатые-разусатые гренадеры ходили в священнических ризах, треугольных шляпах, другие в женском салопе с епитрахилью на шее или в женской мантилье, в шароварах, с каской или в белом плаще с алым кокошником на голове. Старый воин щеголял в дяконовском стихаре. Тут всадник верхом в монашеской рясе, с красным пером на шляпе, здесь куча солдат в женских юбках, завязанных около шеи.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.